

*В. А. Гуторов\**

**РЕВОЛЮЦИЯ И УТОПИЯ: К ВОПРОСУ  
О ЛЕГИТИМИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  
В РОССИИ В 1917 г.\*\***

Статья посвящена утопическим аспектам революционной идеологии как важнейшего средства легитимизации коммунистического режима, установленного большевиками в России 1917 г. Для появления и восприятия иррациональных социальных мифов необходимо специфическое, родственное массовому психозу состояние, охватывающее общественное сознание, нивелирующее обычное разнообразие мысли, подавляющее все, выдающееся интеллектуально. Атмосфера террора и страха перед неизвестным — лучший катализатор всеобщего устремления к «сильной руке», харизматическому лидеру или партии, способной дать порядок и спокойствие. В таких условиях социалистическая программа, никак не связанная с предшествующей реальностью, не выдерживавшая в недавнем прошлом даже малейшей критики с позиции здравого смысла, но вобравшая в себя лозунги, отвечавшие массовым ожиданиям, внезапно обрела все шансы на успех. Возникшие на ее основе институты, направленные на разрыв с прошлым, как бы они не противоречили прежним законному порядку и традициям, могли обрести легитимность, а вместе с ними укреплялся и тот тип идеологии, который освещал новую действительность.

**Ключевые слова:** революция, утопия, марксизм, идеология, тоталитаризм, власть, легитимность, террор.

*V. A. Gutorov*

*REVOLUTION AND UTOPIA: ON THE QUESTION OF LEGITIMIZATION OF  
POLITICAL POWER IN RUSSIA IN 1917*

The article is devoted to the utopian aspects of revolutionary ideology as the most important means of legitimizing the communist regime established by the Bolsheviks in

---

\* Гуторов Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и философии политики факультета политологии, Санкт-Петербургский государственный университет; gut-50@mail.ru.

\*\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Красное и Белое: pro et contra» № 17-83-01004-ОГН.

Russia in 1917. For the emergence and perception of irrational social myths, a specific, akin to mass psychosis, a condition encompassing the public consciousness, leveling the usual diversity of thought, overwhelming everything, outstanding intellectually, is necessary. The atmosphere of terror and the fear of the unknown is the best catalyst for universal striving for a “strong hand,” a charismatic leader or party capable of bringing order and calm. Under such conditions, the socialist program, which was in no way connected with the previous reality, did not withstand even the slightest criticism from the position of common sense in the recent past, but absorbed slogans that met mass expectations, suddenly found all the chances for success. The institutions that arose on its basis, aimed at breaking with the past, no matter how they contradicted the previous legal order and traditions, could gain legitimacy, and with them the type of ideology that illuminated the new reality was strengthened.

**Keywords:** revolution, utopia, Marxism, ideology, totalitarianism, power, legitimacy, terror.

Использование утопических идей и конструкций как политическими партиями в период непосредственной революционной ломки старых общественных структур, так и режимами, утвердившимися в результате переворота, — явление, казалось бы, столь бесспорное, является, однако, предметом идеологических и научных дебатов на протяжении всего XX в. Поскольку речь пойдет в дальнейшем о перипетиях, связанных с трансформацией именно социалистического утопизма, необходимо первоначально остановиться на идеологической стороне данного вопроса.

Марксизм с момента своего возникновения всегда признавал свою преемственность с социалистическими учениями XVIII–XIX вв. Эти учения, в дальнейшем всегда именовавшиеся утопическими, рассматривались как один из трех источников марксизма, наряду с английской политэкономией и философией Гегеля и Фейербаха. Вместе с тем претензии марксизма на роль научной теории заставляли его сторонников постоянно подчеркивать свою враждебность «всяким утопиям» [6, с. 121]. Только учитывая идеологический характер такого противопоставления, можно понять непримиримость непрестанной полемики Маркса с Прудоном, Штирнером, Бакуниным, Лассалем и др. и Ленина с народниками и их преемниками — социалистами-революционерами. Эта непримиримость не мешала, впрочем, Марксу высоко оценивать, например, примитивный коммунизм В. Вейтлинга как грандиозное проявление мировоззрения немецкого пролетариата, а Ленину — выдвигать требование и социал-демократам «заботливо выделять из шелухи народнических утопий здоровое и ценное ядро искреннего, решительного, боевого демократизма крестьянских масс» и т. д. [6, с. 121]. Такого рода дифференцированный подход определялся, конечно, уверенностью в необходимости политического руководства массовыми движениями в грядущей революции, развитие которой должно было определяться в соответствии с научно разработанной программой.

Мысль о том, что тактическая подготовка и организационное воздействие на массу определяют характер революционных событий, всегда владела марксистами. Через неделю после победы Февральской революции 1917 г., которой Ленин совершенно не предвидел, в своем первом «письме из далека» он совершенно безоговорочно утверждал:

Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, «разыграна» точно после десятка главных и второстепенных репетиций; «актеры» знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия [7, с. 12].

С объективной точки зрения, подобная, ни на чем не основанная, но выглядящая вполне респектабельной, убежденность не может рассматриваться как элемент научного предвидения. Она была лишь моментом доктринальной веры в сознательную мощь объявленной научной теории.

Роль, играемая профессиональными революционерами во всех современных революциях, — отмечает Х. Арендт, — достаточно велика и значительна, но она не заключалась в подготовке революций. Они наблюдали и анализировали прогрессирующий распад в государстве и обществе, но они едва ли делали или были в состоянии делать много для того, чтобы ускорять и направлять его... Внезапное начало большинства революций заставляла врасплох революционные группы и партии не в меньшей мере, чем всех других, и вряд ли существует революция, вспышка которой могла бы быть отнесена на счет их деятельности. Обычно все случалось иначе: революция и происходила, и освобождала, как это и было, профессиональных революционеров там, где они оказывались — из тюрьмы или из кофейни, или из библиотеки. Даже ленинская партия профессиональных революционеров также едва ли была способна «делать» революцию; лучшее, что она могла делать, это находиться поблизости или поторопиться домой в надлежащий момент, а именно — в момент краха. Замечание, сделанное Токвилем в 1848 г., о том, что монархия пала «скорее до, чем под ударами победителей, которые были настолько же изумлены своим триумфом, насколько побежденные — своим поражением», подтверждалось снова и снова. Роль профессиональных революционеров обычно состоит не в том, что они делают революцию, а в том, что они приходят к власти после того, как она разразилась, и их великое преимущество в этой борьбе за власть заключено в гораздо меньшей степени в их теориях, умственной и организационной подготовке, по сравнению с тем простым фактом, что их имена являются единственными, известными публике [12, р. 248–249].

В октябре 1917 г., когда все «актеры» уже находились на местах, тактическое мастерство Ленина и Троцкого действительно сыграло решающую роль в перевороте, который открыл перед Россией (в чем были убеждены все их сторонники) социалистическую перспективу. О том, что Октябрьская революция была социалистической, мы можем теперь судить ретроспективно, поскольку в ее результате возник общественный строй, определявшийся в программе большевистской партии, переименованной в коммунистическую, как социалистический. Именно победоносное завершение революционного процесса позволило рассматривать его в дальнейшем как реализацию научно спланированной программы действий. Но так ли это верно?

Российская революция, в которой принимали участие десятки миллионов человек, развивалась, как и ее предшественница — Французская революция 1789–1794 гг., во многом стихийно. Ее ход и результаты определяли не только и не столько стратегические установки ее лидеров, сколько надежды и иллюзии, издавна распространенные среди крестьянства и городской бедноты и часто

принимавшие под воздействием войны и всеобщей разрухи ярко выраженный утопический характер. Осуществление «черного передела» помещичьих земель, национализация фабрик и жилья, наконец, немедленное «введение социализма» были в равной степени и демагогической реакцией на вспыхнувшие мессианские надежды, и реализацией коммунистической доктрины.

Обвинение в утопизме было сразу брошено большевикам их оппонентами из марксистского лагеря. Будучи сами сторонниками социалистической перспективы для России, меньшевики, в полном соответствии с экономическим учением Маркса, рассматривали взятие власти большевиками как реакционную по своим последствиям попытку осуществить утопический эксперимент в стране, где отсутствуют материальные предпосылки социализма. Принявший активное участие в революции на ее первом этапе один из лидеров меньшевиков — Ю. О. Мартов мрачно констатировал 19 ноября 1917 г. в письме одному из основателей российской социал-демократии — П. Б. Аксельроду: «Присутствуешь при разгроме революции и чувствуешь себя беспомощным что-нибудь сделать» [8, с. 22].

Это же чувство беспомощности присутствует и в анализе Мартовым итогов революционного развития в 1921 г., когда он открыто признает, что установившийся в России режим не имеет ничего общего с марксистской теорией.

Сентиментальное соображение, — писал он, — что вообще недопустимо восстание против правительства, которое состоит из социалистов и революционеров, нам, конечно, чуждо. Но, когда мы становимся на почву целесообразности, мы ясно отдаем себе отчет, что пока... при революционном свержении большевиков мы имели бы против себя не только более или менее коррумпированное и деклассированное меньшинство «настоящих» коммунистов, но и очень значительную часть подлинно городского и сельского пролетариата... Большевиков пока поддерживает определенное значительное меньшинство русских рабочих, которых нельзя зачислить в категорию коррумпированных прикосновением к власти и которые, если и коррумпированы, то в более широком смысле — верят еще скорее в наступление коммунистического рая посредством применения силы, искренно вдохновляются идеалом всеобщей «уравнительности» и т. д. [8, с. 116].

Таким образом, Мартов признал, что за короткое время «чисто преторианский» переворот, приведший к власти «самое парадоксальное правительство из авантюристов и утопистов» [8, с. 16–17] и установивший вместо социалистического режима «прямое царство солдатской охлократии» [8, с. 15], оказался способным получить массовую поддержку и стать легитимным именно благодаря вызванным им к жизни массовым утопическим настроениям. Разумеется, Ю. О. Мартов, марксист до мозга костей, не мог допустить и предположения, что это случилось не вопреки, а благодаря марксистской теории. Но для такого допущения необходимо было выйти за пределы идеологической индоктринации и встать на научную точку зрения.

В отечественной научной литературе еще в начале XX в. была обоснована концепция, впоследствии распространившаяся в западной политической теории. Суть ее состояла в опровержении догмы о противоположности марксизма предшествующий утопической традиции.

Мы имеем теперь все данные для того, чтобы утверждать, — писал П. И. Новгородцев в 1917 г. накануне октябрьского переворота, — что марксизм представляет собою самую типическую утопию земного рая со всеми ее основными особенностями... По своему внутреннему содержанию эта утопия представляет собою систему абсолютного коллективизма, и, как всякая система этого рода, она вызывает против себя все те же возражения, которые неизбежно возникают при обсуждении каждого подобного учения [10, с. 228].

Путем соединения морально-религиозного пафоса «с торжественным провозглашением культа чистой науки»

социалистический идеал получал... образом обаяние твердого научного открытия, наделялся характером непреложной научной истины. То, что было в нем сверхнаучного и утопического — предания и пророчества, перешедшие к марксизму от старых социалистических систем, равно как и его собственные догматы и верования, — все это скрывалось под покровом строгих научных теорий [10, с. 229] (ср.: [1, с. 384; 15, р. 5–8]).

Эти выводы, основанные на научном анализе произведений Маркса и Энгельса, разумеется, являются только исходной предпосылкой и не могут служить непосредственным доказательством того, что именно утопический характер марксизма позволил большевистскому режиму стать легитимным. И Германии, где марксизм возник, и всей Западной Европе, где он стремительно распространился, удалось избежать и радикальной революции, и катастрофических последствий социалистической перестройки. Это произошло не потому, что капиталистический Запад и его рационалистическая культура оказались совершенно невосприимчивыми к исходящим от социалистического движения утопическим импульсам, а вследствие того, что Россия, по совершенно верному выражению Ленина, оказалась тем самым «слабым звеном», для которого вызванные мировой войной потрясения имели наиболее катастрофические последствия. В результате военных поражений и сопровождавших революцию радикальных движений в стране возник особый психологический климат, не только стимулирующий традиционно жившие в российском крестьянстве мессианские настроения, но и способствующий распространению новых многообразных форм утопизма и социального мифотворчества.

Для появления и восприятия иррациональных социальных мифов необходимо специфическое, родственное массовому психозу, состояние, охватывающее общественное сознание, нивелирующее обычное разнообразие мысли, подавляющее всё, выдающееся интеллектуально. Атмосфера террора и страха перед неизвестным — лучший катализатор всеобщего устремления к «сильной руке», харизматическому лидеру или партии, способной дать порядок и спокойствие. В таких условиях социалистическая программа, никак не связанная с предшествующей реальностью, не выдерживавшая в недавнем прошлом даже малейшей критики с позиции здравого смысла, но вобравшая в себя лозунги, отвечавшие массовым ожиданиям, внезапно обрела все шансы на успех. Возникшие на ее основе институты, направленные на разрыв с прошлым, как бы они ни противоречили прежним законному порядку и традициям, могли об-

рести легитимность, а вместе с ними укреплялся и тот тип идеологии, который освещал новую действительность.

В известной мере новая практика была непосредственным выражением той революционности, олицетворением которой был Ленин.

Жизнь Ленина, — отмечал Н. Валентинов, — была борьбой двух начал — утопизма и реализма... В одной душе Ленина — хилиазм, революционный раж, свирепость, иллюзионизм, безграничная сектантская нетерпимость, отрицание допустимости каких-либо компромиссов, желание, ни с чем не считаясь, не осматриваясь по сторонам, прямо, кроваво, беспощадно идти к поставленной цели. В другой душе — осторожность, практический нюх, конформизм, хитрость, большая расчетливость, способность, с помощью далеко идущих компромиссов и комбинаций, гибко приспосабливаться к требованиям изменяющейся жизни [4, с. 94, 106].

Подобная комбинация интеллектуальных и душевных качеств позволяет понять, почему теория, созданная «кабинетными теоретиками», внезапно может стать всеохватывающей идеологической доминантой. Характер распространения марксистской идеологии в России совершенно несовместим с характеристикой утопии Л. фон Мизесом, видевшем в ней только вводящую в заблуждение иллюзию возможности неизменного существования, стремление «покончить с историей и установить окончательный и вечный покой» [9, с. 68]. Зато он вполне совместим с концепцией К. Маннгейма, рассматривавшего утопию как «трансцендентную по отношению к действительности» ориентацию сознания, которая, даже будучи плодом индивидуального творчества, оказывается, вследствие заложенного в ней динамизма, соответствующей «коллективным импульсам» тех социальных слоев, позиция которых близка настроениям и стремлениям утописта [14, р. 169–170, 174–175, 184–186].

Динамический характер социалистического утопизма стал важнейшим источником появления политических мифов, способствовавших легитимизации нового режима. Важнейшим из них был миф о власти советов, камуфлирующий установленную большевиками однопартийную диктатуру не только на первом этапе революции и Гражданской войны, но практически на протяжении всей истории ее существования [12, р. 246–247; 2, с. 196–202].

Нашей задачей является не анализ всех многообразных форм политического мифотворчества, нашедшего в советской России весьма благодатную почву, но выяснение принципиального вопроса — каким образом социалистический утопизм сделался средством легитимизации того строя, который определяется в современной научной литературе как тоталитарный. Важнейшими признаками тоталитарного режима являются: абсолютное господство одной политической партии, навязывающей всему обществу определенный тип идеологии, освящающей авторитет власти; государство подчиняет не только экономическую жизнь, но также контролирует через монополию на средства массовой информации все остальные виды деятельности. Результатом становится предельная идеологизация политики, подкрепляемая террором (или угрозой его применения), который направлен на подавление любой попытки сопротивления — группового и индивидуального [2, с. 230–231; 16, р. 13–15].

Таким образом, идеология является главным нервом, центром регулятивного механизма, защищающего интересы монопольной власти. Такое положение сложилось вполне спонтанно в ходе революции.

Те, кто практически находится у власти, — подчеркивает К. Поппер, — образуют *Новый класс — новый правящий класс нового общества*. Этот класс представляет собой некий вид новой аристократии или бюрократии, представители которого, как можно предположить, будут стараться скрыть этот факт. Удобнее всего это делать, сохраняя, насколько это возможно, революционную идеологию, пользуясь революционными настроениями, вместо того, чтобы тратить свое время и силы на их разрушение (в соответствии с советом, который давал Парето всем правителям). И вполне вероятно, что они смогут достаточно искусно воспользоваться революционной идеологией, если одновременно будут использовать контрреволюционные тенденции общественного развития. Тем самым революционная идеология будет служить им в апологетических целях: она будет оправданием того, как они используют свою власть, и средством ее стабилизации, короче — новым «опиумом народа» [11, с. 162–163].

Характеристику К. Поппером революционной идеологии как важнейшего средства легитимизации коммунистического тоталитаризма можно дополнить еще одним штрихом: именно при ее посредстве политические мифы, возникшие в период революционной трансформации, приобрели иную, принципиально новую форму, став важнейшим элементом «официальной утопии», придававшей сакральный смысл как сталинским чисткам, насильственной коллективизации и индустриализации, так и экспансивной внешней политике советского государства. Тем самым, как отмечает Дэвид Битэм, обеспечивался основной принцип новой политической организации:

...стремление к коллективной цели — реализации социализма и вера в значимость этой цели была необходима не только для легитимизации правил ее власти, но также для играющих определяющую роль мотиваций на ряде уровней... При отсутствии выраженного на выборах согласия, она была необходима для мобилизации массовой базы для партии с некоторой степенью приверженности [13, р. 185].

Такой взгляд довольно близок к оценке социалистического утопизма Макса Вебера. Анализ веберовских работ, посвященных проблеме социализма, свидетельствует не только о хорошем знакомстве с классическими марксистскими текстами, но и о научном характере и направленности их критики. Например, как и Маркс, Вебер признавал всю важность и необходимость духовной и социальной эмансипации рабочего класса, понимая ее, однако, иначе, чем руководители современной ему германской социал-демократии, которые, по его замечанию, «не терпят свободы мысли, продолжая штемпелевать в головах массы раздробленную систему Маркса в качестве догмы» и «свободы совести, являющейся для них только фразой, о чем может сообщить любой берлинский городской миссионер» [17, р. 26]. Вебер был убежден в том, что предпосылки такого подхода к основополагающим ценностям европейской культуры коренятся в профетических, эсхатологических элементах марксистской мысли, ядром которых является утопия «пролетарской диктатуры», сформировав-

шаяся в ранних работах Маркса и Энгельса начиная с «Коммунистического манифеста». Вместе с тем, отвергая любую форму революционного утопизма, неизбежно связанного с идеей классового и группового насилия, Вебер никогда не утверждал, что социализм как тенденция экономического и политического развития утопичен и поэтому неосуществим.

Является ли утопический способ легитимизации власти характерным только для тоталитарных режимов? Попытка ответить на этот вопрос могла бы увлечь нас в направлении той не прекращающейся до сих пор дискуссии вокруг исторических истоков и исторических параллелей тоталитаризма и возможностей тоталитарного перерождения современных индустриальных обществ. Не вдаваясь в детали этой дискуссии, можно только заметить, что сам метод соединения народно-утопических идей и ожиданий с господствующими формами религии и идеологии является таким же древним, как наша цивилизация. Его можно обнаружить и в древнеегипетских эсхатологических картинах «Книги мертвых», и в римской версии мифа о «золотом веке», которому Октавиан Август и его последователи придали классическую форму «официальной утопии» [5, с. 21, 58 сл.].

Современные общественные структуры, независимо от уровня технического прогресса (а может быть, и благодаря ему), обладают удивительной пластичностью и зависимостью от исторического прошлого и нередко обнаруживают под новыми цивилизованными слоями вполне архаические и традиционные элементы мысли и социальной практики.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Арон Р. Мнимый марксизм. — М.: Прогресс, 1993.
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. — М.: Текст, 1993.
3. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М.: Наука, 1990.
4. Валентинов Н. Малоизвестный Ленин. — СПб.: Смарт, 1991.
5. Гуроров В. А. Античная социальная утопия: вопросы истории и теории. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.
6. Ленин В. И. Две утопии // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. — М.: Политиздат, 1968. — Т. 22. — С. 117–121.
7. Ленин В. И. Письма из далека // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. — М.: Политиздат, 1969. — Т. 31. — С. 9–59.
8. Мартов Ю. О. Письма. 1916–1922 / ред. — сост. Ю. Г. Фельштинский. — Vermont: Chalidze Publications, 1990.
9. Мизес Л. фон. Антикапиталистическая ментальность. 2-е изд. — Нью-Йорк: Телекс, 1992.
10. Новгородцев П. И. Об общественном идеале. — М.: Пресса, 1991.
11. Поппер К. Открытое общество и его враги. — М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. — Т. II. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы.
12. Arendt H. The Revolutionary Tradition and Its Lost Treasure // Liberalism and Its Critics / ed. by Michael J. Sandel. — New York: New York University Press, 1992. — P. 239–264.



13. Beetham D. *The Legitimation of Power*. — London: Macmillan, 1991.
14. Mannheim K. *Ideologie und Utopie*. — Bonn: Friedrich Cohen, 1929.
15. Schumpeter J. A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. — New York: George Allen & Unwin Publishers Ltd, 1976.
16. *Totalitarismus*. Hrsg. von Konrad Löw. 2. Aufl. — Berlin: Duncker und Humblot, 1993.
17. Weber M. *Zur Gründung einer national-sozialen Partei* // Weber M. *Gesammelte Politische Schriften*. Hrsg. von Johannes Winckelmann. — Tübingen: J. C. B. Mohr, 1988.